

Марк Харитонов

Низкие обманы и высокие истины

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ШЕКСПИРА

Я позже многих узнал, что Фанни Каплан, та самая, что стреляла когда-то в Ленина, была, оказывается, знакома с младшим братом Владимира Ильича, Дмитрием Ульяновым, — а может, не просто знакома. Высказывалось мнение, что судьбы всех троих оказались переплетены не слабее, чем у героев античных трагедий.

Известный психолог В.Л. так прямо и написал в своей работе (где анализируется, среди прочего, характер Ленина): «Черной меткой сорокавосемилетнему Володе стал выстрел в него полуслепой Митиной пациентки-любовницы, эсерки Фейги Ройтблат, она же Фанни Каплан. Подписывая своей мрачной знойной красавице направление на операцию по восстановлению зрения, доктор Дмитрий Ульянов не ведал, что посылает брату молнию мести не только за себя-малыша...».

Тут чуть ли не на каждом слове хочется задержаться. «Черная метка», «полуслепая эсерка», «знойная красавица». Не просто пациентка (оказывается) доктора Ульянова, но любовница, «молния мести брату». А уж если брат этот не кто-нибудь, а персонаж мировой истории, крупнейший деятель века, изменивший судьбу не только своей страны, — воображению, право же, начинает мерещиться сюжет, достойный Шекспира. Вспору очередной раз удивляться, куда в наше время девались таланты достойного уровня.

Хотя, начав понемногу вникать, обнаруживаешь, что вообще-то история эта уже не просто обсуждалась — обсасывалась всячески. И в беллетристике, и в документалистике, со ссылками на свидетелей, на архивы. Версии противоречат одна другой, перепроверять достоверность каждой бессмысленно, да и не в достоверности дело. Пусть в какой-то мере легенда — не интересует же нас документальное подтверждение шекспировских трагедий. Сюжет, выявить бы сюжет!

Настоящее имя этой женщины было Фейга Ройтблат. Она родилась на Украине в семье меламеда, учителя хедера. Ей было шестнадцать лет, когда 22 декабря 1906 года взорвалась бомба в номере киевской гостиницы «Купеческая». Юная Фейга остановилась там с неким Виктором Гарским (он же Яков Шмидман) — то ли одесским бандитом, то ли анархистом. Ему удалось бежать, девушка была контужена взрывной волной, вдобавок ранена осколками. При аресте у нее нашли документы на имя Фанни Каплан, обвинили в подготовке покушения на киевского генерал-губернатора. На допросах она никого не выдала, утверждала, что ничего не знает, взрыв произошел неожиданно для нее, когда вошла в комнату.

Самоотверженная девушка-террористка (да еще на фоне романтической влюбленности) не так давно могла бы стать у нас героиней серии «Пламенные революционеры». В советское время Фанни Каплан мешало имя. Те, кто позднее выстрел в Ленина готов был одобрить, не принимали покушения на генерал-губернатора. Беда, что с некото-

Об авторе | Марк Сергеевич Харитонов родился в 1937 г. Прозаик, эссеист, поэт, переводчик, многолетний автор «Знамени». В 1992 году стал первым лауреатом русской Букеровской премии (за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича»), в 1997 году удостоен французской премии за лучшую эссеистическую книгу года («Prix du meilleur livre étranger essai»). Произведения М. Харитонova переведены на многие языки. Предыдущая публикация в «Знамени» — 2014, № 4. Живет в Москве.

рых пор террористки-самоубийцы вообще как-то перестали восхищать публику, слишком реально пришлось с ними соприкоснуться. Обещано, однако, продолжение.

Девушке грозила смертная казнь, но сделали скидку на возраст, расстрел заменили пожизненной каторгой. Фанни в кандалах отправили в Сибирь. Там она провела десять лет, сблизилась с известной революционеркой Марией Спиридоновой, стала убежденной эсеркой. В марте 1917 года ее освободили по амнистии. Увы, к тому времени она почти совсем ослепла: к последствиям контузии добавилась работа на свинцово-серебряных рудниках. Одно время не могла ходить без сопровождения — стала практически недееспособной.

О каком-либо продолжении вряд ли пришлось бы вести речь, если бы в мае судьба не занесла Фанни в Евпаторию, где для таких, как она, был учрежден «Дом каторжан» — и там не свела ее с Дмитрием Ильичом. Сверять противоречивые свидетельства опять же нет смысла, кто-то вообще называет всю эту историю легендой. Не исключено, однако, что в том или ином качестве доктор Ульянов действительно мог в этом доме встретить Каплан, а позднее направить ее на операцию к известному харьковскому офтальмологу профессору Гиришману. Операция прошла успешно, к Фанни частично вернулось зрение.

Частично — то есть, как пишут, «силуэты различала, в пространстве ориентировалась». Достаточно ли, чтобы время спустя она все же смогла стрелять в Ленина? Громкая история уже множество раз описывалась и обсуждалась во всех подробностях. Известны утверждения, что полуслепую женщину просто использовали, чтобы прикрыть настоящего исполнителя. Как бы там ни было, Фанни Каплан была на месте покушения задержана, на допросах не просто призналась — сама настаивала, что в Ленина стреляла она, считает его предателем революции. Стреляла «от себя лично», а не по поручению какой-либо партии. «Эта мысль во мне созрела в Симферополе, — читаем мы в протоколах, — и с тех пор я начала готовиться к этому шагу... Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью».

Уверяют, однако, что не все протоколы были опубликованы. «Известно, что отсутствуют десять страниц, как раз связанных с ее пребыванием в Крыму... Можно предположить, задачей большевиков было максимально отвести Фанни Каплан от Дмитрия Ульянова. Что им в принципе и удалось сделать».

Что ж, пора, стало быть, вернуться опять в Крым, к доктору Ульянову — не случайно же серьезный психолог так многозначительно обмолвился словом о «молнии мести», посланной оттуда старшему брату.

В.Л. в упомянутой книге профессионально прослеживает становление характера Ленина. «Мальчик трудно рождался, перенес тяжелый рахит, долго не мог научиться ходить и разборчиво говорить, сильно картавил и дальше. Закатывал иногда истерические припадки, тяжелые истерики случались и в зрелости. При этом неплохо был физически развит, отличался превосходной памятью, цепким умом, быстрым соображением, упрямством и агрессивностью».

И дальше вот это: «Любил поиздеваться над презируемым младшим братиком Митей, будущим медиком, мягкосердечным интеллигентом, тихим бабником, под конец жизни спившимся»...

Вот таким персонажем, значит, нам предложено заниматься. Не особенно тянет, но уж какой есть. Из официальной биографии: «Служил военным врачом в Севастополе», «вел активную борьбу за Советскую власть в Крыму»... Особых революционных заслуг, при всем старании, приписать ему не удастся. Малоинтересные свидетельства, малодостоверные сплетни. «Дмитрий Ильич любил ухаживать за хорошенькими женщинами. Особое внимание он оказывал Фанни Каплан, которая была очень красива и пользовалась успехом у мужчин». (Дошедшие фотографии не особенно в этом убеждают, ну, пусть так кому-то казалось.) «Роман вполне мог закончиться свадьбой, если бы в их отношения не вмешались партийные товарищи. Эсеры не хотели, чтобы их соратница в это революционное время перешла в лагерь политических конкурентов. Для чувствительного Дмитрия Ильича это стало серьезным испытанием, горечь расставания он заливал добрым крымским вином в погребках»...

Тоска, скука. Худо-бедно пробуешь выстроить в воображении сюжет. Мягкосердечный интеллигент (не зря, право, его братец припечатал эту категорию извест-

ным словом), под хмельком, возможно, поплакался полуслепой возлюбленной, рассказал, как над ним издевался в детстве человек, наводивший теперь ужас на всю страну. И она вызвалась за него отомстить — у нее к этому человеку были свои претензии... Не Шекспир, какой там Шекспир!

Если бы в этой истории не присутствовал Ленин!

«Подписывая своей мрачной знойной красавице направление на операцию по восстановлению зрения, доктор Дмитрий Ульянов не ведал, что посылает брату молнию мести не только за себя-мальша»...

Значит, вот так. А дальше — фатальный выстрел, политическое покушение или не раскрытая до конца провокация, расстрелы заложников, чудовищный красный террор. 3 сентября 1918 г. женщину без суда убивает выстрелом в затылок балтийский матрос Павел Мальков, комендант Кремля, труп велит сжечь в железной бочке.

«Могучий брат выжил довольно легко, но предстоящий ужасный конец выстрелом Фейги был ускорен и обозначен, — пишет В.Л. — Идеальный фанатик, не жалевший себя и не знавший милосердия, презиравший слабых, оканчивал свои дни в ранней ужасной постинсультной беспомощности. Пока еще был в состоянии говорить, просил дать ему яд для самоубийства. И кого просил! — того, кто стал его нежеланным преемником и превзошел его жестокостью и коварством».

Почему все-таки недотягивает до Шекспира? Понимаем ли мы на самом деле его героев? (Понимаем ли поэзию в переводах?) Не просто другая эпоха — другой мир, другое представление о мире. Провидение, месть античных богов — увы, это не для нас. Слишком близко мы узнали новых творцов истории. Реальность не дает былой воли воображению.

НИЗКИЕ ОБМАНЫ И ВЫСОКИЕ ИСТИНЫ

Полемика об исторической реальности и литературных персонажах возникла у меня когда-то в переписке с Давидом Самойловым. Прочитав в 1980 году рукопись моих «Двух Иванов» (публикации им предстояло ждать еще восемь лет), он упрекнул меня в нагромождении «ужаса, крови, вони, уродства, мучительства», в недостатке «художественного целомудрия». Литературе, писал он, это противопоказано и о самой истории создает искаженное представление.

Речь в романе шла о временах Ивана Грозного. Прочитав фрагмент своего ответного письма (27.06.1980):

«Я заглянул в трагические времена, когда половина населения погибла от казней, голода, мора, войн, набегов, а для другой половины страх и смерть стали повседневным бытом. Это был непростой душевный труд, который много мне дал и в чем-то меня изменил. После него невозможно стало, в частности, читать иную историческую беллетристику: режет ухо облегченность, условность, неподлинность. Я уже слишком знаю, что реальный Василий Блаженный ходил не в рубище с картинными заплатами, а нагой (таким его и рисовали на ранних иконах) и испражнялся среди площадей, что реальные пустынники годами не умывались и не меняли платья и т.п. Когда по-настоящему вживешься в эпоху, перестаешь зажимать нос и находишь в этой жизни свою (не нынешнюю) полноту, истину, поэзию.

Возьми хотя бы документальное описание Угличской драмы. Увидев мертвого сына, Мария Нагая схватила из поленицы полено и, простоволосая, стала бить им по голове мамку Василису Волохову. Прискакал пьяный Михайла Нагой, дьяк Битяговский, который незадолго перед тем урезал Нагим денежное содержание. Михайла натравил на Битяговского толпу. Попутно растерзали еще несколько человек, кинулись на подворье Битяговского, разбили там винные бочки, упились, с жены Битяговского сорвали одежду. Звонарь звонил, запершись на колокольне.

Таков пересказ — еще без множества сочных подробностей — известного эпизода:

«Вдруг между их свиреп, от злости бледен
Является Иуда Битяговский.
“Вот, вот злодей!” — раздался общий вопль,
И вмиг его не стало» — и т.п.

Это, впрочем, не Пушкин, это Пимен. Для меня существенно и полено, и простоволосая баба, и попутное пьянство: глубина грубой жизни. Все это отнюдь не детали и не стилистические роскошества, это плоть прозы, как и лес, озеро, дорога, колыбельная и молитва».

(Упрека в жестоком натурализме принять я не мог — достаточно процитировать любое место «Двух Иванов»: «То было в лето, когда крылатый червь летел от востока к западу, поел посевы и засушил деревья. Солнце выжгло с небес влагу, и по безводью сам собой занимался огонь. Горела земля с травой и лесами на ней, дымилась воспаленные внутренности болот, мгла стлалась по ветру, и за пять шагов не видать было друг друга. Люди разбрелись по дорогам, оставляя дома в пищу пожарам. Слабели на лету птицы, и рыба потом пахла дымом два года».)

Речь, по большому счету, идет о том, как сделать достоянием литературы, явлением поэзии неприкрашенную, грубую, порой трагическую реальность, — *возвес-ти ее*, по слову гения, *в перл создания*.

Полней всего мне помогла уточнить мысль известная работа М. Цветаевой «Пушкин и Пугачев». Случилось так, что я начал ее читать как раз под впечатлением этой полемики с Д. Самойловым — и поразился, насколько она по теме нашего спора. Книга была в заграничном издании, надо было ее вернуть, поэтому я кратко, с выписками, законспектировал статью, попутно ее комментируя.

Цветаева сопоставляет здесь «Капитанскую дочку» с «Историей Пугачева». «Пушкинский Пугачев, — пишет она, — есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив: — Да, знаю, знаю, все как было и как все было, знаю, что Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания — знать не хочу, этому не своему, чужому знанию противопоставляю знание — свое! Я — лучше знаю. Я — лучшее знаю:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отмел, все забыл, прочистил от них голову, как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева...

Пушкин поступил, как народ: он правду — исправил, он правду о злодее — забл, ту часть правды, несовместимую с любовью: малость.

И, всю правду о нем сохранив, изъяв из всей правды только пугачевскую малость, дал нам другого Пугачева, народного Пугачева, которого мы можем любить: не можем не любить.

Пушкин нам Пугачева «Пуг. Бунта» — показал, Пугачева «К. дочки» — внушил. Ибо чара — старше опыта. Ибо сказка — старше были».

И наконец, главный вывод:

«Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины».

Не буду здесь обсуждать, правильно ли оценила Цветаева побуждения и метод Пушкина. (Дескать, знал факты, однако сознательно — или бессознательно, но именно из таких побуждений и именно так — отобрал и преобразил их.) Не уверен, что сам Пушкин подписался бы под цветаевскими восторгами. Будем говорить не о соответствии цветаевской концепции фактам, а о смысле этой концепции. Ничего не подделаешь, приходится вновь обращаться все к той же проблеме: время не перестает нам о ней напоминать.

«Мне кажется небезразличной дата написания статьи — 1937 год, — заметил я тогда еще, в 1980 году. — Уже совершилась духовная подготовка к возвращению в послереволюционную Россию, вытеснены из памяти непосредственные впечатления, зарево из детской сказки о добром разбойнике затмило реальные пожары, правда литературного «мужичьего бунта» затмила личный опыт прикосновения с ним, отраженный в дневниковой прозе послереволюционных лет».

А в дневниковой этой прозе Цветаева запечатлевала свидетельства о жутких, зловещих событиях, о времени, когда, между прочим, от голода умерла ее младшая дочь. Там, кстати, с ненавистью упоминается имя Дзержинского: вот уж кто, каза-

лось бы, «добрый разбойник», сколько он сделал хотя бы для беспризорников, то есть детей, осиротевших не в последнюю очередь его стараниями. Тогда Цветаева видела этих сирот близко, в упор.

(Да разве не были мы сами воспитаны на чтении легенд о сталинских благодеяниях? Как он послал врача и лекарства за полярный круг спасти заболевшую девочку и т.п. Допустим, это даже и не легенда, допустим, был такой случай — какова его цена на фоне прочих злодейств?)

Ничего не поделаешь, пережитое нами не очень позволяет поддаться «возвышающему обману», которым нас с некоторых пор пичкают в нарастающем изобилии литература, журналистика, телевидение, всем этим костюмированным поделкам про «исторических» персонажей, трагически великого Ивана Грозного, про благочестивых русских царей, про не понятого современниками Распутина. Реальное знание несовместимо с фальшивой, искусственной мифологизацией.

Между прочим, то же знание в свое время помешало мне принять знаменитое стихотворение Бродского «На смерть Жукова». «Родину спасшему, вслух говоря» — броская формула вызвала у меня внутреннее сопротивление. Слишком памятна другая формула, вычеканенная В. Астафьевым: «Жуков — браконьер русского народа». Она, увы, подтверждается неоспоримыми фактами. «Жуков и Сталин сожгли в огне русский народ». Нет, после таких слов державинская стилистика звучит искусственно.

ВОЗМОЖНОСТЬ ГЕНИЯ

Время вновь и вновь побуждает возвращаться к давним заметкам, давним мыслям, что-то подтверждать, что-то переоценивать.

«Со всех сторон, — писал я в «Стенографии конца века» (21.08.1989) — разговоры об упадке, о кризисе, даже об отсутствии культуры, о прерванных традициях, обрубленных корнях, уничтоженных школах... Люди разных возрастов говорят о своем поколении как о несостоявшемся и несостоятельном.

Какое-то личное, уязвленное чувство заставляет меня искать возражения. Вопервых, откуда нам знать? Может, в чьих-то письменных столах, в новонакопленных архивах уже дожидаются своего часа шедевры неведомых гениев? Еще немного дозреть благоприятным условиям, и мы обнаружим в этих, казалось бы, оцепенелых, а на самом деле затаившихся поколениях своих Платоновых и Булгаковых, а может, и нового Баха, который, как известно, не существовал для современников и зазвучал лишь стараниями потомков»...

Мыслями о «возможности гения» я тогда поделился с друзьями. Приведу здесь мнение лишь одного из них, Натана Эйдельмана. «Не думаю, — сказал он, — что в чьих-то столах дожидаются своего часа неизвестные шедевры. То, что лежало долгие годы ненапечатанным, мы все-таки по рукописям знали. И сейчас основные достижения принадлежат людям, духовно сложившимся в эпоху “оттепели”. Это был последний всплеск некоторого идеализма. От поколения, которое формировалось в атмосфере цинизма, распада, лжи, ничего существенного ждать не приходится. Должно пройти лет пятнадцать — двадцать, чтобы созрело новое, духовно более полноценное поколение».

С тех пор прошло уже не пятнадцать, не двадцать лет — добрая четверть века. В недавнем (октябрь 2014) интервью Вячеслав Всеволодович Иванов все так же недоумевает: «Странное впечатление: ...прошло больше 20 лет нашей относительной свободы.., а в России не появилось ни одного потрясающего прозаического произведения... Ну, со стихами дело совсем плохо, потому что их никто не хочет читать»...

И все-таки не оставляет вопрос: насколько нам в самом деле дано об этом судить? Могут ли в новое время, в эпоху Интернета, когда опубликовать можно практически что угодно, оставаться незамеченными, неоцененными подлинными шедеврами?

На меня произвело впечатление открытие, сделанное не так давно знаменитой американкой Сьюзен Зонтаг. Перебирая потрепанные обложки на одном из лондонских книжных развалов, она обнаружила роман никому не известного русского писателя Леонида Цыпкина «Лето в Бадене». Прочла (в английском, разумеется, переводе) и тут же написала: «Этот роман я, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века».

История эта теперь широко известна, пересказывать нет надобности. Леонид Цыпкин по профессии был не писателем, а врачом-патологоанатомом, печататься он даже не пытался. И дело было не просто в советской цензуре. Зонтаг приводит свидетельство его сына (который, эмигрировав, позаботился о публикации отцовских работ на Западе): «По редакциям он их не рассылал и не хотел давать в самиздат, боялся “разговоров” с КГБ и остаться без работы». «Писал для себя. Писал для литературы», — восхищается Зонтаг.

Ее статья, а затем предисловия к разным изданиям сделали роман сенсацией, он сразу был переведен на многие языки. «Затерянный шедевр», «грандиозная вежа русской литературы XX века», «самое неизвестное гениальное произведение, напечатанное в Америке за последние пятьдесят лет», — изошрялись в восторгах рецензенты. Отчасти, думается, сработало имя Достоевского, о котором повествует роман, добавилась и биографическая, «советская» легенда, но книга действительно заслуживает всяческих похвал. Для меня же сейчас всего замечательней сам факт незаурядного открытия, сама его возможность — ничем на самом деле не гарантированная. Даже очевидными, казалось бы, достоинствами произведения.

Сьюзен Зонтаг особенно прославилась своей работой «Против интерпретации». В ней она призвала читателя, зрителя вернуться к непосредственному переживанию искусства, которое в современной культуре то и дело начинает подменяться его интерпретациями. Нельзя в этом призыве не заметить доли лукавства: у самой Зонтаг начинается, конечно же, с непосредственного переживания, но, чтобы передать это переживание, это впечатление другим, без интерпретаций не обойтись. Вот где ее несравненная сила!

В статье о Цыпкине редкое для иностранца знание советских обстоятельств (надо полагать, результат бесед с его сыном.) А какая глубина, какая проникновенность анализа! И не в последнюю очередь — какая эрудиция, позволяющая критику ввести русский роман в контекст мировой литературы! Зонтаг обнаруживает в нем переклички с работами Джозефа М. Койтци и В.Г. Зеебальда, с японскими «романами от первого лица», с неизвестной мне «Артемизой» Анны Банти, которую называет «шедевром итальянской литературы XX века», стиль русского писателя она сравнивает со стилем португальца Жозе Сарاماга и немца Томаса Бернхарда...

Возвращаешься все к тому же вопросу: а если бы роман случайно не попался на глаза читателю такого уровня, таких способностей, обладающему таким уже наработанным авторитетом? Знаем ли мы, можем ли знать, сколько действительно незаурядных писателей, художников, композиторов уходят из жизни уже при нас незамеченными — и припасен ли судьбой на неизвестного пока Баха будущий Мендельсон, способный спустя более полувека после смерти гения обнаружить завалывшиеся в архиве ноты и наконец-то оценить их? Ведь это при том (вновь напоминаешь себе), что в эпоху Интернета незачем углубляться ни в какие архивы, копаться в ящиках письменных столов — все и так на поверхности, в нарастающем изобилии.

Давно, в общем-то, известно: значительное чаще всего бывает не таким уж доступным, подлинная новизна не сразу понятной, вникать, читать надо медленно, по многу раз перечитывать, а времени у нас на это все меньше. Знать бы уверенно, заранее, что усилия стоят того. Критик популярного еженедельника рецензирует в каждом номере три, четыре, а то и пять-шесть новинок, среди них два-три толстых романа — может ли такая критика быть в принципе полноценной? Обходимся той, какая есть. Имена создаются все больше премиями, скандалами, хэппенингами. «Была иерархия ценностей, сейчас это называется “рейтинг”», — объясняет персонаж моего недавнего романа «Джокер, или Заглавие в конце». Ничье мнение не может быть авторитетным — считается, что общих для всех критериев не может быть в принципе. «Нет имманентных (то есть внутренне присущих) качеств, которые помогли бы распознать, “искусство” перед нами или “не искусство”, — читаем мы по поводу очередного на шумевшего дивертисмента. — Искусство — это всегда прорыв, пощечина общественному вкусу». «Качество произведения искусства заключено не в нем самом, но в его силе, влиятельности, в общественной реакции на него».

И все больше осознаешь, что не только в литературе — во многих областях общественной жизни происходит, как теперь выражаются, замена «вертикальных» критериев «горизонтальными». Но это уже другая тема.